

A dark, atmospheric illustration of a snowy courtyard at night. In the center, a tall, cylindrical stone tower with a single lit window stands against a dark sky. The courtyard is flanked by large, dark stone buildings with arched windows, some of which are covered in snow. A young girl with long brown hair, wearing a dark blue coat and a matching bow, stands with her back to the viewer in the center of the courtyard. The ground is covered in a thick layer of snow. The overall mood is mysterious and somber.

ОЛЬГА СЛОБОДСКАЯ

Та, что
вернулась

18+

Ольга Слободская

Та, что вернулась

<https://litres.ru/74673393>

SelfPub; 2026

Аннотация

Меня объявили мёртвой в 23:40. В 00:52 я открыла глаза.

Северная академия стоит на острове посреди ледяного озера, и до весны отсюда не уехать. Ночью я умерла в закрытой Северной башне, куда студентам вход запрещён. Через полтора часа очнулась в леднике лазарета. Как я попала в башню и что там случилось, я не помню. А в моём дневнике кто-то аккуратно вырезал все страницы за последний месяц.

Соседка что-то скрывает, соперница ищет, на чём меня поймать, а мой парень явно что-то недоговаривает. Меня убили. И тот, кто это сделал, знает, что я вернулась.

Теперь мне надо найти его раньше, чем он снова придёт за мной.

Содержание

Пролог	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Лёд	8
Глава 1. Ледник	9
Глава 2. Та, что вернулась	23
Глава 3. Оранжерея	35
Глава 4. Долг	48
Глава 5. Ловушка	58
Глава 6. Засада	68
Глава 7. Общество	76
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Ольга Слободская

Та, что вернулась

Ольга Слободская

Та, что вернулась

Пролог

Газовый рожок у двери шипел, как кошка, которой наступили на хвост, и давал больше копоти, чем света, поэтому он зажёг ещё и свечи.

Спички были отсыревшие, из нижнего ящика кафедры, где их держал старый сторож вместе с табаком и огрызками сахара. Первая сломалась, вторая вспыхнула со второго раза. Он поднёс огонёк к фитилю, подождал, пока пламя возьмётся, и погасил спичку, зажав её головку большим и указательным пальцем. Так делал его отец, и мать всякий раз ругалась, что когда-нибудь он лишится пальцев. Свечу он поставил у северного края круга, где её и полагалось ставить, если верить записям.

Круг был почти готов. Он вырезал его в каменном полу три ночи подряд, стамеской, украденной из столярной мастерской, и ладони у него горели от мозолей. Борозда шла ровно, глубиной в полпальца, и только в одном месте, у западной стороны, резец сорвался и оставил скол, похожий на выщербленный зуб. Он долго смотрел на этот скол, потом решил, что неважно. Важно было другое: успеть, пока весь остров спит.

Снаружи билось о скалы озеро. Ветер лез в щели высоких окон, и пламя свечей ложилось набок, а потом выпрямлялось, будто передумав. Он проверил формулу, записан-

ную на обороте лекционного листа. Чернила поплыли от его потных пальцев, перьевая ручка оставила кляксу на третьей строке, но он помнил её наизусть. Он вообще всё помнил наизусть, это было единственное, чем он мог похвастаться перед ней.

Он встал на колени у края, положил ладони на холодный камень и начал.

Первые слова дались легко. На вторых в зале стало тихо, совсем, так что он перестал слышать озеро, а свечи загорелись ровно и неподвижно, как нарисованные. По борозде побежал свет, бледный, голубоватый, похожий на тот, что бывает подо льдом весной, когда солнце уже высоко. Он шёл медленно, от северной свечи на восток, и камень под ладонями стал тёплым.

На лестнице застучали шаги.

Он не обернулся. Обернуться значило сбиться, а сбиться значило начать всё заново, и второй раз у него не хватило бы духу. Шаги были быстрые, лёгкие, кто-то бежал через ступеньку и поскользнулся на повороте, где всегда натекала вода. Дверь ударилась о стену.

— Остановись!

Голос сорвался на крик и тут же охрип от бега.

— Остановись, ты не понимаешь, что делаешь!

Свет в борозде дошёл до скола на западной стороне и споткнулся о него. Он увидел это раньше, чем понял: голубая полоса замерла, задрожала и вдруг рванулась обратно, но

уже не по кругу, а поперёк, к тому месту, где стояла она. Девушка шагнула вперёд, протянула руки, то ли чтобы схватить его за плечо, то ли чтобы закрыть собой круг, и на ней была форменная куртка с гербом, расстёгнутая, потому что она одевалась на бегу.

Вспышка была белой и беззвучной.

Когда он снова смог видеть, свечи стояли погасшие, все разом, и от фитилей поднимались тонкие струйки дыма. Борозда в полу была тёмной. Она лежала поперёк круга, лицом к окну, и одна рука у неё была откинута в сторону, ладонью вверх, будто она просила что-то ей дать.

Он не сразу подполз к ней. Сначала он сидел на коленях и смотрел на эту ладонь, и ему казалось, что если не двигаться, то ничего ещё не случилось, всё можно переписать, как формулу на обороте листа. Потом он подполз. Потом он долго держал её за запястье, искал пальцами то место, где бьётся, и не находил, и снова искал.

В южной бойнице, той, что смотрела на остров, светилось одно-единственное окно Главного корпуса, где кто-то засиделся над книгами. Больше на всём острове не горело ничего.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Лёд

Ладонь на камне раскрыта вверх, будто просит, чтобы ей что-то дали.

Глава 1. Ледник

Меня объявили мёртвой в 23:40. В 00:52 я открыла глаза.

Сначала я решила, что ослепла, потому что темнота была плотная и шершавая и лежала прямо на лице. Потом я вдохнула, и темнота втянулась мне в рот вместе с запахом мокрой соломы, опилок и чего-то кислого, вроде капусты, забытой в погребе. Я дёрнула головой, и это оказалась ткань, грубая, накрахмаленная до хруста, а под ней было так холодно, что зубы застучали раньше, чем я успела понять, что они у меня есть.

Я стащила простыню. Надо мной был каменный свод, низкий, в белых потёках соли, и на крюке висел фонарь с прикрученным фитилём, который давал столько света, сколько даёт тлеющая трубка. Я лежала на столе. Не на кровати, не на полу, а на длинном деревянном столе, обитом жёстью, и жёсть подо мной была ледяная, а голые ступни упирались в кусок брезента, на котором кто-то мелом написал цифру шесть.

Справа, у стены, стояли ящики, а в ящиках, присыпанные опилками, лежали глыбы льда, мутные, с вмёрзшими травинками. Слева стоял второй стол. На нём тоже лежала простыня, и простыня была не плоской.

Я смотрела на неё, наверное, с минуту. Из-под края торчала нога, босая, жёлтая, с толстым загнутым ногтем на боль-

шом пальце, и к щиколотке бечёвкой была привязана картонная бирка. Я прочитала её, потому что больше смотреть было некуда: «Лебедев Е. С., проф. 21.11». Дальше было что-то зачёркнуто.

Ноги у меня не слушались. Я спустила их со стола и встала на пол, и пол оказался земляным, утоптаным, с инеем по краям, а сорочка на мне была чужая, длинная, больничная, с завязками на спине, которые кто-то не завязал. Я обхватила себя руками и поняла, что не помню, как сюда попала. Это было бы ещё ничего. Хуже было то, что я помнила последнее, что было до.

Паром. Палуба, мокрая от брызг, мама на причале в Лодейске, которая машет мне платком, и синяя лента, которую она утром завязала мне в косу, сказав, что это на удачу. Конец августа, яблоки в корзине у соседки по скамейке, чайки. Остров Студёный, который выплывал из тумана, как спина огромной рыбы, и башня на скалах, тёмная, отдельная от всего, похожая на поднятый палец. Я тогда подумала, что она грозит. А потом ничего.

Я протянула ладонь и позвала огонь. Это было первое, что я научилась делать в шесть лет, раньше, чем читать, и с тех пор он всегда приходил сразу, серебристо-синий, наш, семейный, как говорила бабушка, «соколовский». Сейчас на ладони вспыхнула искра, жалкая, как от отсыревшего кремня, и погасла. Я позвала ещё раз. Ничего не случилось, только стекло фонаря над головой вдруг затянулось белым, будто

на него подышали с той стороны, и пошло тонкими перьями инея.

Я решила, что это от холода. Здесь всё было от холода.

Лестница нашлась за ящиками: узкая, крутая, с верёвкой вместо перил. Я поднималась на четвереньках, потому что ноги подгибались, и на седьмой ступеньке ударилась головой о люк. Люк был не заперт. Я упёрлась в него плечом, он откинулся с грохотом, и прямо надо мной оказался коридор с белёными стенами, медный светец в бронзовой чаше и старик с фонарём, который стоял в трёх шагах и смотрел на меня так, как, наверное, смотрят на утопленника, вылезшего из проруби, чтобы попросить табачку.

Фонарь упал. Стекло разбилось, и масло растеклось по полу горячей лужицей.

— Тамара Львовна, — сказал старик тихо, а потом заорал так, что у меня зазвенело в ушах: — Тамара Львовна! Тамара!

* * *

Целительница прибежала в ночной рубашке, поверх которой был наброшен клетчатый халат, и в очках, которые висели у неё на цепочке и подпрыгивали на груди. Она была крупная, широкая в плечах, с седым пучком, из которого торчал карандаш, и от неё пахло трубочным табаком и камфарой. Она не закричала. Она сначала затоптала горящее

масло тапком, потом взяла меня за подбородок двумя пальцами, повернула к свету, оттянула мне веко, а потом приложила ухо к моей груди и долго слушала, и всё это время её губы шевелились, как будто она считала.

— Харитон, одеяло, — сказала она наконец. — Два одеяла. И грелку. И не стой столбом, Христа ради.

Старик ушёл, шаркая. Она усадила меня на скамью у стены, накинула мне на плечи свой халат и села рядом.

— Тебя принесли без пульса, — сказала она, глядя не на меня, а на свои руки. — Полтора часа. Я полтора часа не слышала ни одного удара. Я двадцать пять минут тебе сердце запускала, потом записала время и велела снести вниз. Так не бывает, понимаешь? Я тридцать лет на этом острове, так не бывает.

Я хотела сказать, что ничего не понимаю, но зубы стучали, и вышло только:

— Какое число?

Она посмотрела на меня поверх очков.

— Двадцать восьмое ноября. Уже двадцать девятое, если по-честному.

Я сидела и чувствовала, как халат пахнет табаком, а скамья подо мной холодная даже сквозь сорочку, и пыталась понять, куда делись три месяца. Не неделя, не день, о которых можно сказать «навверное, ударилаь головой». Сентябрь, октябрь и почти весь ноябрь. Целая осень, в которой я, видимо, жила, ела, ходила на лекции и что-то делала такое, после

чего меня приносят в лазарет без пульса.

Харитон вернулся с одеялами, и меня завернули, как куль с мукой, и повели в палату. По дороге мы прошли мимо стола дежурной сестры, на котором горел светец и лежал раскрытый журнал в зелёном коленкоровом переплёте. Целительница остановилась, чтобы сунуть в ящик ключи, и я, пока она возилась с замком, прочитала последние строчки. Подчерк был крупный, с нажимом, буквы стояли косо, как пьяные:

«23:15 - Воронова К., 1 курс. Доставлена ректором из Северной башни. Без сознания, пульса нет. Попытки оживления - без результата. 23:40 - констатирована смерть».

Ниже было пусто. Ниже, видимо, предстояло написать про меня что-то новое.

* * *

Палата была на шесть коек, и все шесть стояли пустые, застеленные серыми шерстяными одеялами с синей полосой. Меня уложили на ту, что у печки, сунули в ноги глиняную грелку, обёрнутую полотенцем, и Тамара Львовна принесла кружку с чем-то горячим и горьким, пахнущим мятой и полынью. Я выпила половину и только тогда заметила, что чай у меня в руках уже не горячий, а еле тёплый, хотя она налила его из чайника, который ещё шипел на печке.

— Пей, пей, — сказала она. — Остыл, что ли? Дай подо-

лью.

Она подлила. Через минуту он снова был еле тёплый.

Ректор пришёл, когда за окном было ещё совсем темно, а на стене тикали часы с гирями в виде еловых шишек и показывали без четверти два. Я услышала его раньше, чем увидела: шаги в коридоре были неторопливые, тяжёлые, с каким-то особенным шарканьем на каждом втором шаге, будто человек бережёт одну ногу. Дверь открылась, и в палату вошёл высокий старик в тёмном сюртуке, застёгнутом на все пуговицы, с короткой седой бородой и такими спокойными руками, что я сразу на них посмотрела. Руки висели вдоль тела и не делали ничего. Обычно люди, когда входят к больному, что-нибудь трогают: поправляют манжет, гладят бороду, хватаются за спинку кровати. Эти не трогали ничего.

От него пахло горькой полынной настойкой, как от моего чая, только сильнее.

Он остановился у изножья кровати и посмотрел на меня. Он смотрел долго, дольше, чем было вежливо, и я, не зная, куда деть глаза, рассматривала цепочку от часов, которая шла у него из жилетного кармана в петлю сюртука, и на цепочке, кроме часов, висел ключ, большой, тёмный, старинный, с бородкой, похожей на маленькую лестницу.

— Как вас зовут? — спросил он.

Голос у него был тихий и очень ровный, без старческой хрипотцы.

— Ксения, — сказала я. — Воронова.

Он помолчал.

— Хорошо, — сказал он, и что-то в нём как будто отпустило, плечи чуть опустились. — Это хорошо, Ксения Сергеевна. Значит, голова цела. Я Аркадий Петрович Северов, ректор этой академии, если вы и это забыли. Тамара Львовна говорит, вы многое забыли.

— Последнее, что я помню, это паром.

Он кивнул, будто так и должно было быть.

— Бывает. От переохлаждения и не такое бывает. — Он придвинул табурет и сел, аккуратно подтянув брюки на коленях. — Я расскажу вам, что знаю, а знаю я немного. Мне не спалось, я стоял у окна и увидел вспышку в Северной башне. Башня закрыта, Ксения Сергеевна, она аварийная, там ступени крошатся, и студентам туда строжайше запрещено. Но студенты, как вы понимаете, не очень любят слово «запрещено». Я поднялся. Вы лежали на полу и не дышали. Я принёс вас сюда.

— Что я там делала?

— Я надеялся, вы мне скажете. — Он чуть улыбнулся. — Полагаю, баловались. Кто-нибудь из старших показал вам какую-нибудь глупость из старых книг, вы попробовали, оно вспыхнуло. Такое случается раз в несколько лет, и, к сожалению, не всегда заканчивается так благополучно.

Я хотела спросить, кто эти старшие, и почему я не дышала от того, что «вспыхнуло», и почему у меня до сих пор ледяные руки, но он уже поднялся, кивнул Тамаре Львовне

и сказал, что зайдёт утром. Она вышла за ним в коридор и прикрыла дверь, но не до конца, потому что дверь в этой палате, как и все двери на острове, разбухла от сырости и не входила в косяк.

Я лежала тихо. Я вообще хорошо умею лежать тихо, это я выяснила ещё в детстве, когда подслушивала, как родители ругаются за стенкой.

— Аркадий Петрович, — сказала целительница, понизив голос, но не сильно. — В крови у неё сонный корень. Я пробу сделала, пока она внизу лежала. Её усыпили.

— Сонный корень, — повторил он.

— Её кто-то усыпил и бросил в этой вашей башне. Это не «баловались». Это...

— Тамара Львовна. — Он не повысил голос, он, кажется, вообще не умел его повышать, но она замолчала. Было слышно, как в печке осела зола. — Девочка жива. Это главное, и это, если хотите, чудо, о котором мы с вами не будем рассказывать за обедом. Если по острову пойдут разговоры об отравлениях, нас до весны будет лихорадить, а весной сюда приедет комиссия, и пострадают все. Вы, я, студенты, которые здесь ни при чём. Паром не ходит, птицы не долетают, помощи нам ждать неоткуда, и разбираться с этим будем мы сами, тихо. Давайте не будем это распространять.

Пауза была долгая. Потом целительница что-то сказала, совсем тихо, и он ответил «благодарю вас», и шаги с шарканьем на каждом втором ушли по коридору.

Правило острова номер один я придумала тогда же, лёжа под чужим одеялом с синей полосой: когда взрослые говорят «давайте не будем», значит, есть что.

* * *

Тамара Львовна вернулась и молча поставила на тумбочку свечу, хотя светец на стене горел. Она посмотрела на меня, поняла, что я всё слышала, и не стала делать вид, что нет. Это мне в ней понравилось.

— Покажи-ка, — сказала она и расстегнула мне ворот сорочки.

Я опустила глаза. Под левой ключицей, там, где бьётся сердце, если оно бьётся, на коже был след. Бледный, светлее остальной кожи, как будто кто-то приложил к ней кусок льда с выдавленным узором. Тонкие линии, ветвистые, похожие на изморозь на окне, сходились в кольцо величиной с чайное блюдце, и внутри кольца линии шли гуще, переплетаясь, как корни. Я тронула его пальцем. Он был холоднее остальной кожи.

— Что это?

— Ректор говорит, обморожение, — сказала Тамара Львовна таким голосом, что стало понятно, что она думает про то, что говорит ректор. — От каменного пола.

— Обморожение не бывает кольцом.

— Не бывает, — согласилась она и застегнула мне ворот.

— Спи.

Я не спала. Я лежала и смотрела, как на тёмном окне от моего дыхания расплзается иней, хотя окно было в двух шагах, и думала о том, что кто-то меня усыпил. Не «я баловалась», не «вспыхнуло», а кто-то взял сонный корень и сделал так, чтобы я уснула, а потом я оказалась в башне, а потом перестала дышать. И этот кто-то сейчас тоже не спит где-нибудь здесь, на этом куске скалы посреди замёрзшего озера, откуда до весны никто никуда не денется. Ни я, ни он.

* * *

На рассвете Тамара Львовна выдала мне чужое шерстяное платье из лазаретного сундука, пахнущее нафталином, и мои собственные, как она сказала, сапоги. Сапоги я узнала: мама купила их в Лодейске на ярмарке, они были велики на полразмера, и я носила их с двумя носками. Значит, хоть что-то здесь было моё.

Мы шли через двор в серых сумерках, по утоптанной тропе между сугробами в человеческий рост. Остров я узнавала и не узнавала одновременно, как лицо на старой фотографии. Главный корпус, жёлтый, трёхэтажный, с колоннами, облупленными снизу, будто их грызли. Голые липы. Колокол на столбе у ворот, с трещиной от края до середины. («Колокол Отбоя», - сказала Тамара Львовна, когда я на него посмотрела, и добавила, что он такой лет сто, никто не чинит,

традиция.) И над всем этим, за крышами, на скалах у самой воды, Северная башня, тёмная, узкая, с острой крышей, на которой лежал снег. Я посмотрела на неё и отвела глаза.

Сосновый корпус оказался деревянным, в четыре этажа, с мансардами под самой крышей, и пах изнутри смолой, мокрыми валенками и подгоревшей кашей. На лестнице, на подоконнике между третьим и четвёртым этажом, лежал рыжий кот, такой толстый, что казалось, он не лежит, а растёкся. Он открыл один глаз, увидел меня и вдруг встал. Шерсть у него на спине поднялась гребнем, хвост распушился вдвое, и он зашипел, низко, с присвистом, а потом спрыгнул с подоконника и исчез за поворотом лестницы.

— Декан, — сказала Тамара Львовна. — Общежитский. Странно, ты ж его вечно кормила, мне девчонки рассказывали. Весь сентябрь таскала ему котлеты из Трапезной.

Я ничего не ответила. Я не помнила никакого Декана.

Комната была в конце коридора на четвёртом этаже, под самой крышей. На двери висела латунная табличка, начищенная, видимо, ещё при прежнем владельце, и на ней кто-то приклеил полоску бумаги, на которой аккуратным круглым почерком было выведено: «К. Воронова». Почерк был мой. Я его узнала, как узнают свой голос, когда его неожиданно слышишь со стороны.

Тамара Львовна открыла дверь запасным ключом, сказала, чтобы я вечером зашла показаться, и ушла, а я осталась стоять на пороге.

Комната была маленькая, со скошенным потолком и окошком в торце, за которым было видно озеро, белое до самого горизонта. Кровать, заправленная лоскутным одеялом, которое мне сшила бабушка, и это одеяло я тоже узнала. Стол у окна, на нём стопка учебников, чернильница, огрызок яблока, высохший до черноты. Шкаф. На стене над кроватью, приколотые булавками к обоям, висели рисунки углём и фотографии, маленькие, коричневатые, с обрезанными уголками.

С фотографий на меня смотрели люди, которых я никогда в жизни не видела.

Вот круглолицая девушка с двумя светлыми косами, которая смеётся, зажмурившись, и держит в руке надкушенный пирожок. Вот компания на берегу, человек шесть, все в одинаковых форменных куртках с вышитым на рукаве северным оленем, и я там тоже есть, с краю, в синей ленте. Вот парень, высокий, с тёмными волосами, которые падают на лоб, он сидит на перилах моста и смотрит не в объектив, а куда-то вбок, и вид у него такой, будто его позвали, а он ещё не решил, оборачиваться или нет. На этой фотографии в углу было приписано тем же круглым почерком: «М. 3 октября». И нарисовано сердечко, маленькое, кривое, которое потом попытались зачеркнуть и не смогли.

Я села на кровать. Я сидела в своей комнате, под своим одеялом, у своего окна, и всё здесь было чужое, как в доме, куда тебя пустили переночевать хозяева, уехавшие на ярмар-

ку. Кто-то здесь жил три месяца. Кто-то вешал эти фотографии, ел это яблоко, рисовал углём вот эту ветку рябины с ягодами. Этот кто-то был я, и я его не знала.

Дневник лежал под подушкой. Я нашла его, потому что, когда села, под подушкой что-то твёрдо подалось. Толстая тетрадь в клеёнчатой обложке, синей, с наклеенной на неё вырезкой из журнала: какая-то северная птица на ветке. Я открыла его, и мне стало легче, потому что первая запись была мне знакома, я её помнила, я её писала на пароме, держа тетрадь на коленке: «29 августа. Мама плакала. Я тоже, но потом, когда уже отплыли. Остров страшный и красивый. Говорят, на нём нельзя врать, потому что озеро всё слышит».

Дальше я не помнила ничего, но читалось легко, будто письма от младшей сестры. «Первый день. Заблудилась три раза». «Соседка через стенку - Соня, она принесла мне яблоко, потому что я проспала завтрак. Кажется, у меня здесь будет подруга». «Мастер Бурый кричит так, что дрожат стёкла». Почерк был ровный, круглый, без помарок, буквы стояли, как девочки на школьной фотографии.

Я листала, пока не дошла до середины октября.

Дальше страниц не было.

Их не выдрали одним махом, как выдирают, когда злятся. Их вырезали по одной у самого корешка, аккуратно, чем-то острым, бритвой или перочинным ножом, и от каждой осталась узкий бумажный хвостик шириной с ноготь. Хвостиков было много, десятка три. Тетрадь, которая должна была быть

толстой, захлопывалась легко, как пустой кошелёк. На полу у кровати, под самым краем одеяла, лежал маленький обрезок бумаги, и он был светлый, не пыльный. Его уронили недавно.

Я долго сидела на полу, держа этот обрезок на ладони, и считала. Ночью меня принесли в лазарет. Потом я лежала внизу, во льду, рядом с профессором Лебедевым, у которого жёлтые ноги. А кто-то в это время поднялся на четвёртый этаж Соснового корпуса, открыл мою дверь, сел, наверное, на мою кровать и аккуратно, одну за другой, вырезал из моего дневника полтора месяца моей жизни.

Тот, кто это сделал, знал, что я умерла.

Тот, кто это сделал, ещё не знал, что я вернулась.

Я провела пальцем по корешку, по ряду бумажных хвостиков, и на одном, самом последнем, палец зацепился. Этот был шире других, будто нож соскользнул и пошёл не у самого края. На нём уцелела половина строчки, и я поднесла тетрадь к окну, к белому свету с озера, чтобы её прочитать. По черк был мой, но уже не такой ровный, буквы налезали друг на друга, как если бы писали в темноте или очень быстро:

«...ему нельзя верить. Он смотрит на меня так, будто».

Дальше был срез.

Я не помнила ни одного лица в этой академии. А кто-то здесь помнил моё слишком хорошо.

Глава 2. Та, что вернулась

Трапезную я нашла не сразу, хотя, судя по дневнику, ходила в неё три месяца по три раза в день. Ноги, как выяснилось, помнили дорогу лучше головы: на развилке у Главного корпуса они сами свернули налево, под арку с облезлой лепниной, а голова в это время думала о том, что надо бы свернуть направо. Я пошла за ногами и не прогадала. За аркой был длинный одноэтажный флигель с запотевшими окнами, и из его трубы валил дым, пахнувший гречкой и жареным луком.

Внутри было тепло и шумно, как в улье, который пнули. Человек двести сидели за длинными столами, стучали ложками по мискам, кто-то кричал через весь зал «передай соль», под потолком висели светцы в медных чашах, а на стене у входа была прибита большая доска, вся исписанная мелом, с заголовком «Рейтинг первого курса. Ноябрь». Я начала искать на ней свою фамилию, и тут зал замолчал.

Не сразу, а волной, как замолкает лес, когда над ним пролетает ястреб. Сначала ближние столы, потом средние, потом дальние, и вот уже двести человек сидят с ложками в руках и смотрят на меня, и только где-то в углу ещё звякает чья-то кружка. Потом кружка тоже затихла.

Я взяла поднос, потому что больше ничего не придумала, и пошла к раздаче. Повариха, огромная, в косынке, налила

мне гречки с таким лицом, будто я пришла за ней с того света лично. Строго говоря, так оно и было.

Шёпот пополз за мной, как дым. Я шла между столами и собирала его по кусочкам.

— ...сам ректор принёс, на руках...

— ...а в одиннадцать в башне как полыхнёт, полнеба видело, у нас окно на ту сторону...

— ...мёртвая была, говорят, совсем, её в ледник снесли...

— ...а Кира Левина в ту ночь у башни шлялась, мне Валька сказала, она её на тропе видела...

— ...да ладно...

— ...вот тебе и ладно...

Я села за пустой край стола, у самой стены. Гречка была пересоленная. Ко второй ложке я узнала, что меня видели в леднике (неправда, никто не видел), что я была синяя (возможно, правда), что у меня теперь нет тени (я проверила, тень была) и что Кира Левина, кем бы она ни была, «ненавидела её с первого дня, все знают». К пятой ложке за соседним столом какой-то вихрастый второкурсник сказал громким театральным шёпотом, рассчитанным на всю Трапезную:

— А вон и та, что вернулась.

Кто-то хихикнул. Кто-то зашикал. Через полчаса, когда я выходила, это слышали уже, кажется, все. К обеду у меня было прозвище.

Она налетела на меня в дверях Трапезной, когда я застёгивала куртку, и чуть не сбила с ног. Круглолицая, с двумя толстыми светлыми косами, в пальто нараспашку и с бубликом в руке, который она, видимо, несла кому-то и теперь не знала, куда деть. Я её узнала, точнее, узнала её лицо: это она смеялась на фотографии над моей кроватью, зажмурившись и держа надкушенный пирожок.

— Ксюша! — Она обхватила меня руками вместе с бубликом, и бублик упёрся мне в лопатку. — Ой, Ксюша, Ксюшенька, я думала... мне сказали... я всю ночь... ой, прости, я тебя задую сейчас...

Она пахла ванилью и снегом. Она плакала, мокро и некрасиво, и вытирала нос о моё плечо, и я стояла столбом, не зная, что делать с руками, потому что не помнила ни её, ни как её зовут, ни почему мы, судя по всему, были так близки, что она может вытереть нос о моё плечо.

— Это я, Соня, — сказала она сквозь слёзы, отодвинувшись и посмотрев мне в лицо. — Ты что, правда не помнишь? Тамара Львовна сказала, ты не помнишь. Я Соня. Мы через стенку живём. Я тебе в первый день яблоко принесла, ты проспала...

— Я читала, — сказала я. — В дневнике.

Она моргнула. Она стояла, держа меня за плечи, и вдруг отдернула руки, резко, как от горячего утюга, и спрятала их

за спину вместе с бубликом. Лицо у неё стало белое, а глаза забегали, сначала на мою шею, на ворот куртки, потом на мои ноги, потом куда-то в сторону, в снег.

— Мне... мне на лекцию, — сказала она. — Древние языки. Я опоздаю. Ты прости. Я потом зайду. Можно я потом зайду?

И не дожидаясь ответа, побежала по тропе, проваливаясь в снег, с бубликом за спиной.

Я стояла и смотрела ей вслед. Подруга. Первая и, если верить дневнику, единственная. Обняла меня, а потом отдёргнула руки так, будто обожглась, хотя я была холодная, как жестяной стол в леднике.

* * *

На лекции я не пошла. Тамара Львовна выписала мне три дня «постельного», и я решила, что постель у меня может быть где угодно, в том числе на подоконнике в собственной комнате. Я забралась на него с ногами, укрылась бабушкиным одеялом и стала читать дневник, потому что больше мне читать было нечего, а про себя я знала меньше, чем любой студент в Трапезной.

Девушка, которая вела этот дневник, была тихая. Это было понятно с первых страниц, ещё до того, как я начала её узнавать. Она писала длинно и обстоятельно, с подробностями, которые никому, кроме неё, не были нужны: сколь-

ко стоят пирожки в лавке у причала, какого цвета перчатки у преподавательницы древних языков, что сегодня на ужин давали рыбу, которую она не любит, но съела, «потому что неудобно». Она всё время извинялась. Даже перед дневником: «Прости, что вчера ничего не написала, я так устала». Она радовалась мелочам так, что делалось неловко, будто подсматриваешь в замочную скважину за чужим счастьем. «Сегодня мастер Бурый сказал мне "сносно"! Соня говорит, это почти похвала». «Купила в лавке леденец на палочке, в виде петушка, как в детстве. Съела по дороге. Счастье».

Я читала и не узнавала себя. Я помнила, конечно, что в Лодейске была тихой. Но не настолько же.

«Соня мне сегодня заплела косы по-новому, по-островному, с лентой внутри. Сказала, мне идёт».

«На причале какой-то парень со второго курса помог донести чемодан до самого четвёртого этажа. Его зовут Максим. Он сказал, что все первокурсники путают лестницы, а потом полчаса стоял у окна и рассказывал мне, где что. Он смешной. Он сам не знает, что смешной».

«Кот Декан съел половину моей котлеты, пока я отвернулась, а вторую половину я отдала ему сама. Он теперь ходит за мной до самой двери».

Я подняла глаза от тетради. Кот, который ходил за мной до самой двери, сегодня утром выгнул спину и зашипел, как будто увидел собаку.

«Сегодня на практикуме огонь сам рванул вверх, до по-

толка. Я испугалась больше всех. Мастер Бурый сказал "неплохо". Не понимаю, что со мной. В сентябре я свечу за-жигала со второго раза».

Это было в начале октября. Ниже, через несколько записей, почерк чуть менялся, буквы становились крупнее, будто писали взволнованно, но дальше я читать не стала. Я закрыла тетрадь и посмотрела в окно.

Из моего окна башня была видна целиком. Чёрная, узкая, на скалах у самой воды, в стороне от всего остального острова, как человек, который пришёл на праздник и стоит у стены, ни с кем не разговаривая. Ректор сказал, что нашёл меня там. Тамара Львовна сказала, что меня кто-то усыпил. Я просидела на подоконнике, наверное, час, а потом поняла, что не смогу сидеть дальше, если не пойду и не посмотрю на неё вблизи.

* * *

Тропа к башне шла мимо оранжереи. Оранжерея оказалась стеклянной, длинной, с запотевшими стенами, за которыми угадывались зелёные пятна листьев, и от неё тянуло влажным теплом и запахом земли, совсем летним, так что я на секунду остановилась и просто дышала. У входа в неё росло дерево, рябина, старая, с толстым корявым стволом, на ветках ещё висели гроздья, промёрзшие, тёмно-красные, и на них сидели снегири. Я на эту рябину посмотрела вдоль-

ше, чем было нужно, и не смогла бы объяснить зачем.

Дальше тропа сузилась, пошла вниз, между камнями, присыпанными снегом, и стало слышно озеро. Подо льдом оно не шумело, а постанывало, глухо, долго, как большой зверь, которому снится плохой сон.

Башня стояла на самом краю. Вблизи она оказалась больше, чем из окна, сложенная из тёмного камня, неровного, с прожилками, и на камне в щелях висели сосульки. Окна начинались высоко, на уровне второго этажа, и были узкие, как бойницы. Дверь была дубовая, обитая полосами железа, и на ней висел замок, такой большой и тяжёлый, что казалось, он держит не дверь, а всю башню, чтобы та не уплыла. Над дверью в камне был вырезан знак, почти стёршийся от времени и ветра. Я подошла ближе и разглядела: круг, а в круге открытый глаз, без век, с точкой зрачка посередине.

Мне стало холодно. Это было понятно, на скалах у воды всегда холодно, ветер шёл с озера и лез под куртку. Но вместе с холодом пришло что-то другое, и это я объяснить не могла. Я стояла у двери, за которой, по словам ректора, умерла прошлой ночью, и мне было спокойно. Не так, как спокойно бывает дома, а так, как бывает, когда возвращаешься туда, где когда-то уже была, давно, и всё на месте: вот эта ступенька со сколом, вот тут натекает вода и замерзает, вот этот камень справа от двери чуть выступает, и на него удобно опереться.

Я на него оперлась. Он действительно выступал.

Я отёрнула руку и отошла на три шага. Я никогда здесь

не была. Ну, то есть, судя по всему, была, прошлой ночью, и ещё неизвестно сколько раз за эти три месяца, но я этого не помнила, а значит, и узнавать мне было нечего. Это просто тело запомнило, сказала я себе. Как ноги, которые знают дорогу в Трапезную. Тело помнит, голова нет.

Я подняла голову. Наверху, в одном из узких окон, шевельнулась занавеска. Тёмная ткань, почти невидимая за стеклом, качнулась и встала на место. Может быть, это был сквозняк. В аварийной башне, где крошатся ступени, наверняка бывают сквозняки.

Обратно я шла быстро и ни разу не обернулась.

* * *

Он пришёл вечером, когда я уже зажгла светец и сидела за столом, пытаюсь разобрать собственный конспект по основам формул, и стучал так, как стучат люди, которые здесь уже бывали: два раза коротко, один длинно. Я открыла дверь и увидела парня с фотографии, того, что сидел на перилах моста и не решил, оборачиваться ли.

Он был выше, чем на фотографии, и бледнее. Тёмные волосы падали на лоб, и он, видимо, давно не стригся. В руке у него был кулёк, из которого пахло жареными пирожками.

— Привет, — сказал он и замолчал. Потом добавил: — Можно?

Я отступила. Он вошёл, огляделся так, как оглядываются

в знакомой комнате, проверяя, всё ли на месте, и положил кулёк на стол, на мой конспект. Потом снял шапку и стал мять её в руках.

— Ты меня не помнишь, — сказал он. Не спросил, а сказал.

— Нет. — Я помолчала. — Максим?

Он поднял глаза, и в них что-то мелькнуло, то ли надежда, то ли страх.

— Из дневника, — объяснила я. — Чемодан, четвёртый этаж.

— А. — Он кивнул. — Ну да.

Он сел на край кровати, на бабушкино одеяло, без приглашения, как садятся люди, которым здесь всегда было можно, и я стояла у стола и смотрела на него. Он смотрел на меня. Он смотрел очень внимательно, слишком, как смотрят на картину, в которой что-то не так, но непонятно что: то ли рама перекошена, то ли краска поблёкла. И я вдруг вспомнила полстрочки из дневника, которые утром выучила наизусть: «Он смотрит на меня так, будто».

— Что? — спросила я.

— Ничего. Ты... — Он мотнул головой. — Как ты?

— Как человек, который вчера умер, а сегодня ест пересоленную гречку и слушает, как его обсуждают двести человек. Прекрасно. Спасибо за пирожки.

Он нахмурился. Он сидел и смотрел на меня, и брови у него сошлись к переносице, а большой палец правой руки

начал тереть костяшку, на которой был старый, белый, сморщенный след от ожога.

— Ты раньше так не разговаривала, — сказал он.

— А как я разговаривала?

Он помолчал. Потом пожал плечами.

— Тише.

Мне захотелось огрызнуться ещё раз, но я не стала. Я села на стул напротив него и подождала. Он, кажется, собирался с духом, и я ему не мешала.

— Слушай, — сказал он наконец. — В тот вечер. Перед тем как ты... Мы поругались. Ты, наверное, не помнишь.

— Не помню. Из-за чего?

Он открыл рот и закрыл. Посмотрел в окно, на чёрное стекло, в котором отражался светец и мы с ним, и вдруг на секунду показалось, что за нашими отражениями, далеко, на скалах, стоит тёмная башня, хотя её отсюда в темноте никак не могло быть видно.

— Неважно, — сказал он. — Глупость. Потом расскажу.

— Расскажи сейчас.

— Потом. — Он встал и надел шапку, хотя только что её снял. Уже у двери он обернулся и спросил, глядя не на меня, а на табличку с моей фамилией: — А что ты помнишь? Вообще. Из того вечера. Хоть что-нибудь?

Не «как ты себя чувствуешь». Не «тебе что-нибудь нужно». Что ты помнишь.

— Ничего, — сказала я.

Он кивнул, и мне показалось, что ему стало легче, и от этого мне стало хуже.

Когда он ушёл, я открыла кулёк. Пирожки были с капустой. В дневнике, в сентябре, было написано: «Максим не знает, что я не ем капусту, а сказать неудобно. Съела два».

Я съела три. Капуста была вкусная. Я не помнила, когда перестала её не любить.

* * *

Ночью я долго не могла уснуть и в конце концов встала, зажгла свечу и принялась разбирать узел, который Тамара Львовна сунула мне на прощание вместе с сапогами. В узле была моя одежда, та, в которой меня принесли: шерстяная юбка, чулки, свитер с оленями, который вязала мама, и короткое пальто, тёмно-синее, с капюшоном. Всё было ещё влажное и пахло камнем и холодом, как пахнет в погребе, где хранят картошку.

Я встряхнула пальто, чтобы повесить его на спинку стула, и в кармане что-то стукнуло о пуговицу.

Я сунула руку и вытащила маленький кругляш, размером с монету, тяжёлый, из тёмного, почти чёрного металла. Он был холодный, холоднее, чем мог бы быть, пролежав сутки в мокром кармане, и холод не уходил, даже когда я сжала его в кулаке. На одной стороне было гладко. На другой был вытравлен знак, тонко, с нажимом, и я поднесла его к светцу,

чтобы разглядеть.

Круг. А в круге открытый глаз, без век, с точкой зрачка посередине.

Я видела его сегодня. Он был вырезан в камне над дверью Северной башни.

Глава 3. Оранжерея

Жетон я спрятала в старый носок, а носок засунула за отставшую доску в изголовье кровати, где у прежних жильцов, судя по огрызкам карандашей и засохшей ириске, был тайник. Потом я час сидела на кровати и думала, кому его показать, и ни до чего не додумалась.

Показать Соне, которая отдёргивает от меня руки? Максиму, который спрашивает не «как ты», а «что ты помнишь»? Тамаре Львовне, которая хорошая, но в половине третьего ночи говорит ректору «благодарю вас» и делает, как он велел? Самому ректору? Знак на жетоне был вырезан над дверью башни, а в башне меня кто-то усыпил. Тот, кто это сделал, наверняка знал, что такое этот жетон. Покажи я его не тому человеку, и он узнает, что я что-то нашла, раньше, чем я узнаю, кто он.

Правило острова номер два: если не знаешь, кому показать находку, не показывай никому.

Оставалась вторая ниточка, тоньше, но зато с именем. Кира Левина, которая, по словам какой-то Вальки, «шлялась у башни» в ту ночь и, по словам всей Трапезной, ненавидела меня с первого дня. Я снова открыла дневник и на этот раз искала нарочно.

Нашлось немного, и всё мелкое, как песок в ботинке. «Кира Л. из нашей группы опять села за мной и всю лекцию сту-

чала карандашом по парте». «Кира спросила, правда ли, что у меня семейный цвет огня, и сказала "везёт же некоторым" таким голосом, что я весь день думала, чем я перед ней виновата». В октябре: «Кира пересела от меня через ряд». Потом: «Кира перестала здороваться». И в самом конце октября, перед вырезанными страницами, одна строчка, написанная мелко, будто стыдно: «Вывесили рейтинг. Я первая. Перечитала три раза. Кира стояла рядом и не сказала ни слова. Мне было так нехорошо, будто я у неё что-то украла».

Я закрыла тетрадь. Девушка, которая это писала, чувствовала себя виноватой за то, что оказалась лучшей. Я бы на её месте, наверное, купила бы себе ещё одного леденцового петушка. Но я не была на её месте. Я была на её месте только в том смысле, что сидела на её кровати.

* * *

Постельный режим я нарушила на второй день, потому что по расписанию, приколотому над столом, во вторник после обеда у первого курса был практикум у мастера Бурого, а значит, там будет и Кира Левина.

Практикум проходил в длинном зале на первом этаже Главного корпуса, с каменным полом, исчерченными старыми подпалинами, и с высокими окнами, в которые вставили не стекло, а пластины слюды, чтобы не бились. Вдоль стены стояли бочки с песком и вёдра с водой. Мастер Бурый ока-

зался невысоким, квадратным, с рыжей бородой, заплетённой в косичку, и голосом, который, как и обещал дневник, заставлял дрожать слюду в рамах.

— Воронова! — рявкнул он, когда я вошла, и тридцать голов обернулись. — Живая?

— Говорят, да.

— Хорошо. Встать в строй. Огонь в ладони, держать до счёта двадцать, кто уронит, тот моет вёдра.

Я встала в конец ряда. Слева от меня огненные шары загорались один за другим: жёлтые, оранжевые, у одного парня красный, тяжёлый, как раскалённая кочерга. Я подняла ладонь и позвала огонь, и он пришёл, но так, как приходит собака, которую били: неохотно, прижав уши. Маленький серебристо-синий язычок, размером с ноготь, дрожащий, будто его вот-вот задует. Я держала его, сжав зубы, и чувствовала, как по руке до локтя поднимается холод, а капли пота на лбу становятся ледяными.

— Семь, — считал Бурый. — Восемь. Воронова, это что?

— Огонь, мастер.

— Это не огонь, это огрызок огня. Девять.

Кто-то хихикнул. На двенадцати мой язычок дёрнулся и погас, а вода в ведре, которое стояло у моих ног, вдруг подёрнулась тонкой плёнкой льда, такой тонкой, что никто, кроме меня, этого не заметил. Я сунула руку в карман.

— Вёдра, Воронова, — сказал Бурый почти сочувственно. — Ну ничего, после такого-то. Отойдёшь.

Она стояла через три человека от меня, и я её узнала раньше, чем услышала: короткие медные волосы, будто остриженные ножницами для бумаги, веснушки, рассыпанные по носу и щекам, как просо, и обкусанные до мяса ногти на руке, в которой горел огонь. Огонь у неё был оранжевый, ровный, большой, с яблоко, и держала она его легко, лениво, будто это не огонь, а надоевшая игрушка. Когда Бурый досчитал до двадцати и все с облегчением стряхнули пламя с ладоней, она свой огонь не стряхнула, а подбросила вверх, поймала, и только тогда сжала кулак.

Проходя мимо меня к выходу, она чуть замедлила шаг.

— Что, Воронова, — сказала она, не поворачивая головы, — уже не такая особенная?

Голос у неё был низкий и хриплый, будто она много кричала на ветру.

— Видимо, нет, — сказала я. — А ты?

Она обернулась. Посмотрела на меня, прищурившись, сверху вниз, хотя ростом мы были одинаковые. Ничего не сказала и пошла дальше.

Огонь у неё на этой неделе, если верить шёпоту за моей спиной, был лучше, чем весь октябрь. Ни с того ни с сего, сказал кто-то. Раньше еле держала, а теперь вон что. Я слушала, отмывая вёдра в каменной раковине ледяной водой, которая, кстати, мне совсем не казалась ледяной, и думала о том, что в дневнике тоже было это слово. «Не понимаю, что со мной. В сентябре я свечу зажигаю со второго раза».

Внезапная сила, которая приходит неизвестно откуда. Я про неё уже кое-что читала.

Кира ушла не к выходу, а к угловой колонне, за которой была ниша с подоконником, и я, домывая последнее ведро, видела её отражение в мокрой слюде окна. Она достала из кармана что-то маленькое, быстро поднесла к губам, запрокинула голову и сунула это обратно, только уже не в карман, а в мусорную корзину у колонны, и вышла, не оглянувшись.

Я вытерла руки о юбку и подошла к корзине. В ней лежали обрывки черновиков, огрызок яблока и маленькая склянка тёмного стекла, размером с мизинец, пустая. На горлышке ещё сидела пробка, и пробку держала печать из зелёного воска, а на воске был оттиснут листок, простой, с тремя прожилками, как рисуют дети.

Я сунула склянку в карман к тому, что там уже лежало: к огрызку моего огня.

* * *

Что значит листок на зелёном воске, я выяснила в тот же вечер, и мне даже не пришлось никого спрашивать. На полке у меня стоял «Путеводитель первокурсника Северной академии», с загнутыми уголками и пометками на полях, и на сорок второй странице был план острова, а на плане у тропы к Северной башне был нарисован длинный прямоугольник с подписью «Оранжерея (кафедра природной алхимии)», а

рядом, в кружочке, тот же самый листок с тремя прожилками. Знак кафедры. На полях, моим круглым почерком, кто-то приписал: «Т. Б., после отбоя, дорого!!» И два восклицательных знака, и один из них был нарисован в форме морковки.

Я не стала гадать, что значит «Т. Б.». Я дождалась, пока колокол Отбоя прозвонит своей треснутой глоткой девять раз, надела мамин свитер, пальто, натянула капюшон и вышла.

В Сосновом корпусе на ночь запирали только парадную дверь, а дверь чёрного хода, через кухню, держали на щеколде, которую, если верить дневнику («Соня показала, как выходить после отбоя, ужас, если поймают!»), открывали шпилькой. Шпилька нашлась у меня в ящике. Пальцы с ней справились сами, быстрее, чем голова успела подумать, как это делается.

Ночь была тёмная, без луны, и снег под ногами хрустел так громко, что мне казалось, его слышно в кабинете ректора. Я шла по тропе, по которой днём ходила к башне, светя себе крошечным серебристым огоньком, который всё время норовил погаснуть, и у Главного корпуса свернула в крытый переход, ведущий к западной стороне. В переходе было черно, как в печной трубе, и пахло мышами.

Меня схватили за руку на середине.

Я не закричала. Я развернулась и ударила локтем назад, во что-то мягкое и тёплое, и это мягкое и тёплое сказало «ох»

знакомым голосом.

— Ты что, — выдохнул Максим, согнувшись. — Ты что делаешь?

— Это я что делаю? — Огонёк у меня на ладони вспыхнул ярче, чем за весь день, видимо, от злости, и я увидела его лицо: бледное, с прилипшей ко лбу прядью. — Ты за мной идёшь?

— С ужина, — признался он, держась за бок. — Я видел, как ты собиралась. Ты на меня так посмотрела в Трапезной, что я понял, что ты что-то задумала.

— Я на тебя вообще не смотрела.

— Вот именно.

Он выпрямился. Я стояла и думала о том, что мне надо развернуть его и отправить обратно в общежитие, потому что я не знаю, кто он такой, кроме того, что он смотрит на меня так, будто, и врёт про то, о чём мы поругались. Но потом я подумала ещё. Он знал остров, а я нет. Он, наверное, знал, кто такой «Т. Б.». А главное, если он и правда тот, кому нельзя верить, то пусть лучше он будет рядом со мной, чем за моей спиной в тёмном переходе.

— Оранжерея, — сказала я. — Ты знаешь, как туда пройти, чтобы сторож не видел?

Он посмотрел на меня долго. Потом кивнул.

* * *

Оранжерея ночью светилась изнутри. Не ярко, а тускло, зеленовато, как светятся гнилушки в лесу, и через запотевшее стекло было видно движение: кто-то ходил между грядками с фонарём. Мы обошли её со стороны озера, где снег намело до самой крыши, и через щель в раме, заткнутую тряпкой, Максим показал мне, куда смотреть.

Внутри было тепло, так тепло, что стекло с той стороны текло ручьями. Пахло землёй, горькой полыньёю и чем-то едким, от чего щипало в носу. Между длинными деревянными столами с рассадой, у дальней стены, где стояла чугунная печка, на которой булькала медная реторта, сидел парень и что-то писал в толстой книге, подложив под неё колено. Он был худой, смуглый, в вязаной шапке набекрень и в фартуке, прожжённом в трёх местах, и пальцы у него, когда он поднёс их к реторте, оказались все в пятнах, жёлтых, бурых и фиолетовых, как у ребёнка, который рисовал красками без кисточки.

Перед ним стояла Кира Левина и отсчитывала монеты.

— Это по курсу оранжереи три твои стипендии, — говорил парень, не поднимая головы. — Я не благотворительное общество, Левина.

— Отдам в декабре.

— Ты и за ноябрь не отдала.

— Отдам, сказала.

Он вздохнул, полез под стол, достал оттуда склянку, точно такую же, как у меня в кармане, только полную, с тёмной

жидкостью внутри, и протянул ей. Она схватила её, сунула за пазуху и повернулась к выходу. И увидела нас. Не знаю, как: через мутное, текущее стекло, в темноте, мы стояли в снегу у рамы, и всё-таки она нас увидела, может быть, мой дурацкий огонёк. Она замерла на секунду, а потом рванула к дальней двери, к той, что выходила на тропу, и только дверь хлопнула.

Парень с пятнистыми пальцами тоже рванул, но в другую сторону, к задней стенке, где был выход в дровяник, и тут уже Максим оказался быстрее. Он выдернул тряпку из рамы, пролез внутрь боком, сбив горшок с какой-то колючей травой, и поймал парня за фартук.

— Тимур, — сказал он. — Не дури.

Тимур перестал дёргаться. Он посмотрел на Максима, потом на меня, которая лезла следом, путаясь в пальто, и лицо у него стало кислое, как у человека, который съел незрелую клюкву.

— Олышанский, — сказал он. — Нашёл, когда в гости ходить.

Я отметила про себя: они знакомы. По фамилии.

* * *

Тимур Байрамов, второй курс, кафедра природной алхимии, сидел на перевёрнутом ящике и смотрел на нас, как на налоговую инспекцию. Максим стоял у двери. Я стояла у сто-

ла с ретортой и держала в руке пустую склянку с листком на пробке.

— Это твоё? — спросила я.

— Это оранжерейное, — сказал Тимур. — Я тут просто живу. Почти.

— Ты продаёшь зелья усиления. После отбоя. Дорого, с двумя восклицательными знаками.

Он моргнул.

— Это кто тебе так написал? А. — Он присмотрелся ко мне. — Ты ж Воронова. Та, что...

— Да.

— Ну и вид у тебя. — Он почесал нос пятнистым пальцем. — Слушай, Воронова, я ничего не продаю. Я выращиваю травы для кафедры, иногда варю отвары от простуды, и у меня есть благодарные знакомые. А что знакомые потом с отварами делают, это их дело.

— Тимур, — сказал Максим от двери. Сказал спокойно, но так, что Тимур вздохнул и опустил плечи. — Ты знаешь, что будет, если Бурый узнает, что половина его первокурсников этой осенью держит огонь на твоих отварах. Тебя исключат через день. Паром не ходит, так что до весны будешь жить у деда Харитона в сторожке и колоть дрова.

Я посмотрела на Максима. Он стоял, прислонившись к косяку, сунув руки в карманы, и не смотрел на меня. Зачем он мне помогает? Чтобы я ему поверила? Или чтобы первым узнать, до чего я докопаюсь?

— Чего вы хотите? — спросил Тимур.

— Кира Левина, — сказала я. — Двадцать восьмое ноября. Была она у тебя?

Тимур долго смотрел на меня. Потом встал, взял с колена толстую книгу в кожаном переплёте, в которой писал, когда мы вошли, и раскрыл её на столе передо мной, отодвинув реторту.

— Я записываю всех, — сказал он. — Не потому что я такой аккуратный, а потому что половина берёт в долг, а другая половина, когда её прижмут, первым делом сдаст меня. Вот это, — он постучал пальцем по книге, — моя страховка. Если кто-нибудь пойдёт к Бурому, Бурый узнает, кто у меня брал. Все узнают. Смотри.

Это была не книга, а амбарная тетрадь, исписанная мелким почерком в три столбца: дата, имя или буква, что взято, сколько и отметка о долге. Я провела пальцем вниз по ноябрю. Имена мелькали знакомые и незнакомые: фамилии, которые я слышала в Трапезной, клички, просто буквы. Двадцать восьмое: «Левина К. - усил., 1 скл. - не заплатила, долг». Чуть выше, в тот же день: «Ланской Д. - бодрящ. - оплачено».

— Она была здесь, — сказал Тимур. — Весь вечер. Сидела вон там, у окна, ждала, пока я доварю, потому что у меня кончились готовые. Варил долго, часа полтора. А около одиннадцати она как подскочит, будто её кипятком ошпарили, и бегом. Даже склянку не забрала. И деньги не отдала,

само собой. — Он фыркнул. — Я думал, сторожа увидела.

Я листала дальше, назад, от конца ноября к его началу, сама не знаю зачем. Просто читать чужие долги было проще, чем думать.

На четырнадцатом ноября палец остановился. Потом на двадцатом.

«Воронова К. - сонный корень, мал. доза - оплачено».

Два раза. Мой почерк я бы узнала, но почерк был Тимура, а фамилия моя.

— Это что? — спросила я.

Тимур заглянул мне через плечо.

— А, это ты, — сказал он равнодушно. — Ты брала. Сама приходила, два раза. Говорила, не можешь спать. Ночами, говорила, не спится, тянет куда-то, а куда, не говорила. Я тебе малую дозу давал, от неё не уснёшь толком, только успокоишься. Я ж не дурак, первокурсницам большие давать.

Я стояла и смотрела на свою фамилию в амбарной тетради. Сонный корень. Тамара Львовна нашла его у меня в крови и сказала ректору: её усыпили. А я сама его покупала. Два раза, ноябрь, «не могу спать, тянет куда-то».

Значит, может быть, никто меня не усыплял. Может быть, я сама выпила, как ректор и говорил, и сама пошла в башню, и сама там что-то сделала, отчего вспыхнуло, и сама перестала дышать.

Только тогда кто вырезал страницы из моего дневника?

— Тимур, — сказала я, не поднимая головы. — Где она

сидела? Кира. Покажи точно.

* * *

Он показал. Табурет у восточной стены, у самого стекла, рядом с кадкой, в которой рос какой-то куст с тёмными мясистыми листьями. Над табуретом висел фонарь, и стекло в этом месте было чуть чище, чем везде, будто его протирали рукавом, чтобы было видно, что снаружи.

Я села на табурет. Максим и Тимур о чём-то говорили у печки, вполголоса, и я их не слушала. Я смотрела в стекло.

Отсюда, с этого места, сквозь чистый круг на мутном стекле, был виден только кусок ночи, чёрный, без единого огонька, и в нём, совсем близко, через сугробы и камни, вставала башня. Не вся, а её верхняя часть: тёмная кладка, острый край крыши и узкое окно, прямо напротив, ровно на уровне глаз, как будто кто-то нарочно поставил этот табурет здесь, чтобы смотреть в это окно.

Около одиннадцати она вскочила и побежала, будто её кипятком ошпарили.

Около одиннадцати в башне вспыхнуло, и полнеба видело.

Кира Левина сидела здесь, под фонарём, на виду, и смотрела в это окно в тот самый момент, когда я в нём умирала.

Глава 4. Долг

Умывальная на втором этаже Главного корпуса была единственным местом на острове, где первокурсницы могли остаться одни между лекциями, и поэтому одни они там не оставались никогда. Там вечно кто-то плакал в кабинке, кто-то заплетал косу перед мутным зеркалом, кто-то курил в форточку самокрутку из оранжерейной мяты, делая вид, что это не она. Я караулила Киру Левину два дня и поймала её на третий, в среду, после древних языков, когда все побежали в Трапезную, а она задержалась, чтобы оттереть с рукава чернильное пятно.

Она стояла у крайней раковины и тёрла рукав щёткой, яростно, будто пятно было лично перед ней виновато. Я вошла, закрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной.

Кира посмотрела на меня в зеркало. Щётка не остановилась.

— Занято, — сказала она.

— Я подожду.

— Жди в коридоре.

— Мне и тут хорошо.

Она бросила щётку в раковину и повернулась. Вблизи веснушек у неё оказалось ещё больше, они были даже на веках, а глаза были светлые, зеленоватые, как вода в оранжерейной бочке, и злые.

— Чего тебе, Воронова?

— Двадцать восьмое ноября, — сказала я. — Ты сидела в оранжерее у Тимура, ждала, пока он доварит. Около одиннадцати вскочила и убежала, не заплатив и не забрав склянку. Тимур до сих пор злится.

Она даже не моргнула.

— Не знаю никакого Тимура. Я в тот вечер спала.

— У него в книге записано.

— У него в книге половина академии записана, он туда и ректора впишет, если тот у него горчичник купит. — Она взяла с раковины свою куртку. — Отойди от двери.

Я не отошла. Я сунула руку в карман и поставила на край раковины, рядом с её мокрой щёткой, маленькую склянку тёмного стекла с зелёной печатью на пробке.

— Это ты выбросила во вторник в корзину у колонны, — сказала я. — После практикума. Мастер Бурый, наверное, обрадуется, когда узнает, почему у тебя на этой неделе огонь с яблоко, а в октябре был с вишню.

Кира посмотрела на склянку. Потом на меня. Лицо у неё не изменилось, только кожа у крыльев носа побелела, и веснушки на этом белом стали ярче, как брызги на снегу.

— Ты не пойдёшь к Бурому, — сказала она.

— Почему?

— Потому что ты не такая.

— Откуда ты знаешь, какая я? Я сама не знаю.

Она помолчала. Вода из неплотно закрытого крана капа-

ла в раковину, звонко, и я считала капли, чтобы не отводить глаза первой. На одиннадцатой Кира сдалась. Она не опустила взгляд, наоборот, задрала подбородок, но голос у неё стал другим, тише и как будто старше.

— В одиннадцать в башне вспыхнуло, — сказала она. — Белым. Как молния, только без грома. Я там сидела, у окна, ты знаешь где. Оттуда это окно прямо напротив.

— Я знаю.

— И когда вспыхнуло, там кто-то стоял. В окне. — Она облизнула губы. — Лица не видно, оно было против света, только тёмное. Плечи, голова. Человек. Он стоял и смотрел вниз. На оранжерею. Прямо на меня. А я сидела под фонарём, как дура, как на сцене, вся на виду. Понимаешь? Если он смотрел, то видел меня.

— И ты убежала.

— А ты бы не убежала? — Она дёрнула плечом. — Я до утра не спала. Утром говорят, ты умерла. Потом говорят, ты вернулась. А я думаю: если я скажу, что видела, кто-нибудь спросит, что я делала в оранжерее в одиннадцать ночи. А потом тот, в окне, узнает, что это я сидела под фонарём. Нет уж.

— Мужчина или женщина?

— Не знаю. — Она подумала. — Высокий. Наверное, мужчина. Или высокая женщина. Говорю же, тёмное всё.

Я молчала. Кира протянула руку и взяла с раковины склянку, медленно, как берут что-то с тарелки у собаки, и

сунула её в карман куртки.

— Теперь ты, — сказала она. — Про зелья никому. Ни Бурому, ни своему Ольшанскому, ни этой твоей Гречко с ко-сами. Никому.

— Договорились.

— Тебе-то что, — сказала она вдруг зло, натягивая куртку, — ты не на стипендии. Тебе можно хоть последней быть, тебя папа с мамой из Лодейска прокормят. А я если из первой тройки вылечу, то до весны дотяну, а с первым паромом домой, рыбу потрошить. Так что не учи меня.

Я её не учила. Я вообще ничего не сказала. Она протиснулась мимо меня к двери, задев плечом, и уже в коридоре, не оборачиваясь, бросила:

— И огонь у тебя теперь дрянной. Так тебе и надо.

Дверь хлопнула. Кран капал. Я стояла и думала о том, что в окне башни, когда я в ней умирала, стоял человек, и смотрел вниз, и, может быть, видел девушку под фонарём в оранжерее. И что этот человек до сих пор на острове.

* * *

Правило острова номер три пришло мне в голову на обратном пути, когда я проходила мимо доски рейтинга в Трапезной, где на старом ноябрьском листе моя фамилия всё ещё стояла первой, а Левина К. второй: у каждого здесь есть то, за что его можно прижать. Вопрос только в том, кто при-

жмёт первым.

Я прижала. Мне от этого не стало ни лучше, ни теплее. Тем более что теплее мне в последние дни не становилось вообще ни от чего.

Это было странно, и я старалась об этом не думать. Руки у меня всё время были ледяные, как у покойника, и Соня, которая пару раз пыталась заговорить со мной в коридоре, а потом опять убегала, однажды случайно коснулась моих пальцев и ойкнула. Чай в Трапезной остывал у меня в кружке раньше, чем я успевала сделать второй глоток. На стекле, когда я сидела у окна, к утру нарастал иней с моей стороны, изнутри, хотя Сосновый корпус топили так, что в коридоре можно было сушить валенки. Я решила, что так бывает после ледника. Полтора часа в мёртвом теле на жестяном столе, неудивительно, что холод вьёлся в кости. Тамара Львовна, когда я зашла к ней показаться, послушала меня, пощупала, сказала «бывает» таким тоном, каким говорят «не бывает», и дала порошок, от которого у меня два дня горчило во рту.

* * *

Вторую метку я нашла в четверг вечером. Я сидела перед зеркальцем на дверце шкафа и расчёсывала волосы, которые за эти дни сваялись, потому что я никак не могла заставить себя заплести их, как в дневнике, «по-островному, с лентой внутри». Гребень зацепился за колтун на затылке, я наклони-

ла голову, чтобы его распутать, и в зеркале, в просвете между прядями, увидела у себя на шее, под самой линией волос, тонкую чёрную линию.

Она была длиной с палец и тонкая, как нитка, и лежала не на коже, а будто под ней, как лежит под тонким льдом чёрная водоросль. Я потёрла её. Она не стёрлась. Я поскребла ногтем, и стало больно, как от занозы.

Это было не то, что над сердцем. Тот след был белый, холодный, узорчатый, похожий на мороз на стекле. Этот был чёрный, тонкий и злой, и от него не было холодно, от него слегка тянуло, как тянет зуб, который ещё не болит, но скоро начнёт.

Я надела пальто и пошла в оранжерею. Тимур Байрамов был мне должен: я не пошла к Бурому, не пошла к ректору и даже Кире не сказала, кто показал мне её долг.

Он встретил меня без восторга. Он сидел у печки и толлок что-то в каменной ступке, и, увидев меня, вздохнул так, будто я пришла забрать у него последнюю рубашку.

— По курсу оранжереи, Воронова, — сказал он, — ты мне уже одна сплошная убыль.

— Посмотри. — Я повернулась к нему спиной и подняла волосы.

Он посмотрел. Он долго молчал, а потом я почувствовала, как его палец, шершавый и пахнущий полыньёю, осторожно коснулся шеи там, где была нитка, и тут же отдёргнулся.

— Ну и ну, — сказал он. — Кто ж тебя так невзлюбил.

— Что это?

— Порча. — Он сел обратно на ящик и вытер палец о фартук, хотя на нём ничего не было. — Старая деревенская штука, у нас на слободе бабки такие делают, когда соседка мужа уведёт. На неудачу. Ничего страшного, честно, она слабая, совсем слабая, почти детская. Не смертельная, если ты об этом. От неё спотыкаешься на ровном месте, роняешь чашки, огонь не держится. Неприятно, но не больше.

Огонь не держится. Я посмотрела на свою ладонь.

— Кто такое может сделать?

— Да кто угодно, кто знает слова. Слова-то простые. — Он пожал плечами. — Тут другое важно. Для неё нужна вещь. Твоя, личная, которую ты на себе носила, долго, чтобы она тобой пропиталась. Платок, гребень, бусы. Её заговаривают и прячут там, где ты часто бываешь, и пока вещь цела, порча держится. Хоть ты её найди, хоть потеряй, хоть в сундук запри. Снимается только огнём: сжечь вещь, и всё. Так что это не чужой делал. Чужому твою вещь не достать. Это кто-то, кто рядом.

Кто-то, кто рядом. Я стояла посреди оранжереи, в тепле, в запахе земли, и чувствовала, как меня пробирает до костей холод, который не имел к порче никакого отношения.

— А это? — спросила я и, прежде чем успела передумать, расстегнула верхнюю пуговицу свитера и отвела ворот.

Тимур посмотрел на кольцо у меня над сердцем. На этот раз он смотрел гораздо дольше, наклонившись, чуть не

уткнувшись носом, и даже снял свою вязаную шапку, будто она мешала думать. Потом он выпрямился и надел шапку обратно.

— Такого не видел, — сказал он просто. — Никогда. Ни в книгах, ни на слободе, нигде. Ты это... застегнись, Воронова. И это я бы никому не показывал. По курсу оранжереи такие вещи стоят дороже, чем ты можешь заплатить.

* * *

Я вернулась в Сосновый корпус, когда уже совсем стемнело. На лестнице между третьим и четвёртым этажом на своём подоконнике лежал Декан, рыжий, огромный, похожий на подушку, которую кто-то бросил и забыл. Когда я поднялась, он открыл глаза, и я остановилась, ожидая, что он опять зашипит.

Он не зашипел. Он посмотрел на меня долго, не мигая, жёлтыми глазами с вертикальной щёлкой, а потом встал, повернулся ко мне задом и сел, глядя в окно, на тёмное озеро. Я ему, видимо, всё ещё не нравилась. Но я его, кажется, уже не пугала.

У себя в комнате я зажгла светец и встала перед стеной с фотографиями. Я на них смотрела каждый день, но до этого вечера не видела.

На берегу, в компании шестерых, я была в синей ленте. На мосту, где Максим сидел на перилах, я не попала в кадр, но

на одной фотографии, сделанной, видимо, тоже в тот день, я стояла рядом с Соней и смеялась, и в косе у меня была синяя лента. На рисунке углём, который кто-то нарисовал с меня, наверное, на лекции, косы были заштрихованы чёрным, но лента была обведена синим карандашом, единственное цветное пятно на всём листе.

Я её помнила. Не по фотографиям, а по-настоящему. Мама завязывала её мне утром на пароме, на причале в Лодейске, стоя у меня за спиной, и я чувствовала, как её пальцы тянут мне волосы, и она сказала «на удачу», и голос у неё дрогнул.

Я открыла шкаф и перерыла его весь. Потом ящики стола. Потом коробку из-под леденцов, в которой лежали шпильки, пуговицы, засушенный кленовый лист и два медных пятака. Потом выдвинула кровать и посмотрела под ней, где были пыль, один шерстяной носок и потерянная пуговица от пальто. Ленты не было нигде.

Я села на пол, спиной к кровати, и открыла дневник. Я листала его, пока не нашла:

«Мамину ленту ношу каждый день, не снимаю. Соня смеётся, что я с ней и сплю. А я правда сплю. На удачу же».

Личная вещь, которую носили на себе долго, чтобы она пропиталась тобой. Её заговаривают и прячут. Это кто-то, кто рядом.

Я листала дальше, почти не читая, просто чтобы руки были заняты, и почти у самого обрыва, у вырезанных страниц,

наткнулась на запись, короткую, сделанную наспех, с кляксой в конце:

«Опять захлопнула дверь и стояла в коридоре час, пока коменд. не пришла. Всё, хватит. Отдала Соне запасной ключ, пусть у неё будет, она же через стенку».

Я закрыла тетрадь.

За стенкой, в соседней комнате, кто-то ходил. Тихие, мягкие шаги, туда и обратно, туда и обратно, как ходят люди, которые не могут уснуть. Потом скрипнула кровать. Потом стало тихо.

У Сони был ключ от моей комнаты. От той самой комнаты, из которой пропала лента. От той самой комнаты, куда кто-то вошёл, пока я лежала в леднике, сел на мою кровать и аккуратно вырезал из дневника полтора месяца моей жизни.

Глава 5. Ловушка

Самым простым было бы постучать в соседнюю дверь и спросить. Я даже встала с кровати и дошла до порога, а потом вернулась и села обратно, потому что представила, как это будет. Соня открывает, в ночной рубашке, с распущенными косами, и я говорю: это ты навела на меня порчу? А она моргает, ойкает, плачет, клянётся, что нет, и наутро, если это была она, она знает, что я знаю. А если это была не только порча? Если тот, кто взял ленту, и тот, кто резал страницы, и тот, кто стоял в окне башни, один и тот же человек, а Соня просто похожа на булочку с маком, потому что так удобнее?

Нет. Спрашивать нельзя. Надо сделать так, чтобы она сама показала.

Я пролежала полночи без сна, слушая, как за стенкой скрипит её кровать, и к утру придумала. Придумка была подлая. Я это понимала и всё равно не могла придумать ничего лучше.

* * *

В пятницу в Трапезной давали щи и пирожки с рисом, и Соня, как всегда в последние дни, взяла поднос и пошла не ко мне, а к дальнему столу у окна, где сидели девочки с древних языков. Я её перехватила.

— Сядь со мной, — сказала я.

Она застыла с подносом в руках, и щи плеснули на пирожок.

— Ой. Я... да. Конечно. Ксюш, конечно.

Она села напротив, поставила поднос и сложила руки на коленях, как в церкви. Через минуту к нам подсел Максим, который, кажется, теперь всегда оказывался где-нибудь в трёх шагах от меня, и я перестала с этим бороться. Он кивнул Соне, она покраснела и уткнулась в щи.

Я подождала, пока она возьмёт ложку. Потом поморщилась, будто от боли, положила руку на затылок, под волосы, и подержала её там.

— Что? — спросил Максим.

— Ничего. — Я убрала руку. — Опять жжёт.

— Что жжёт?

Я посмотрела на Соню. Она держала ложку на полпути ко рту и не двигалась.

— Метка, — сказала я как можно небрежнее, отламывая пирожок. — У меня тут, на шее, нашлась. Тимур Байрамов посмотрел, говорит, порча. Слабая, говорит, но если её за три дня не снять, она начнёт тянуть из человека всё подряд. Силу, сон, потом память. Потом... — Я пожала плечами. — Ну, он не договорил. Сказал, лучше не доводить.

Это была ложь от первого до последнего слова, кроме «порча» и «слабая». Тимур сказал, что она почти детская и что от неё роняют чашки. Я врала гладко, глядя в пирожок,

и сама удивлялась, как легко это у меня выходит. В дневнике, в октябре, было написано: «Соврала мастеру Бурому, что забыла конспект, а он посмотрел на меня и сказал "врать, Воронова, не умеешь, и не учись". Покраснела до ушей».

Соня положила ложку. Аккуратно, на край тарелки, так, что она даже не звякнула. Лицо у неё было белое, как стена, а губы стали серые.

— Три дня? — спросила она тихо.

— Вроде того. Ты чего?

— Ничего. — Она встала, задев стол коленом, и щи снова плеснули. — Я... живот что-то. Я пойду. Прости.

Она ушла, оставив поднос. Максим проводил её взглядом, потом посмотрел на меня. Я ела пирожок.

После обеда, когда мы вышли на крыльцо, он остановил меня, взяв за рукав, и сказал тихо, чтобы никто не слышал:

— Тимур не говорил про три дня. Я там был.

— Не говорил.

— Ты врешь лучше, чем раньше, — сказал он. Без упрёка, без злости, просто сказал, как говорят «снег пошёл», и стоял, глядя на меня, и тёр большим пальцем свой старый ожог на костяшке.

Правило острова номер четыре я записала в тот же вечер, на обороте конспекта по основам формул, мелко, чтобы самой потом было стыдно: врать надо тем, кто тебя любит. Они верят быстрее.

Она вышла в начале второго.

Я не спала. Я сидела на кровати одетая, в пальто и в сапогах, укрывшись одеялом, и слушала стенку. Около полуночи за стенкой кто-то плакал, тихо, в подушку. Потом долго ходил, туда-обратно, пять шагов, разворот, пять шагов. Потом скрипнула дверь, так осторожно, будто её открывали по миллиметру, и по коридору прошлёпали шаги в шерстяных носках, а у лестницы стихли: она надевала валенки.

Я досчитала до тридцати и пошла следом.

Ночь была ясная и морозная, звёзды висели над озером такие крупные и близкие, что казалось, можно стряхнуть их рукавом. Луны не было, но от снега и звёзд было светло, как в сумерках, и я видела её впереди, тёмную фигуру с двумя косами, которые выбивались из-под платка. Она не оглядывалась. Она шла быстро, почти бежала, по той самой тропе, по которой я ходила к башне, мимо оранжереи, где сквозь мутное стекло светился зелёный огонёк (Тимур, видимо, вообще никогда не спал), мимо старой рябины со снегирями, которые сейчас, ночью, спали где-то в ветках. Вниз, между камнями.

К башне.

Я остановилась за последним большим валуном, шагах в двадцати, и присела. Отсюда было видно дверь, и замок на ней, и знак над ней, глаз в круге, чёрный в звёздном свете,

и Соню.

Она упала на колени у самой ступени, сорвала варежки и начала шарить руками в щели, между нижней ступенькой и стеной, там, где камень был выщерблен и забит снегом и льдом. Сначала осторожно, потом всё быстрее, выгребая снег горстями, ломая ногти о лёд, и я слышала, как она дышит, с всхлипом, и что-то шепчет, быстро, неразборчиво. Потом она выпрямилась, не вставая с колен, и сказала громко, в голос, звенящим от ужаса шёпотом:

— Её нет. Я её сюда положила. Её нет!

Я встала из-за валуна и пошла к ней.

Она услышала мои шаги по снегу, обернулась, увидела меня и закричала. Коротко, как кричат во сне, и сразу зажала рот обеими руками, мокрыми, красными от холода.

— Чего нет? — спросила я.

* * *

Она рассказала всё, сидя на нижней ступени башни, прямо на льду, а я стояла над ней и не садилась, хотя ноги у меня в сапогах на два носка застыли так, что я перестала их чувствовать. Она рассказывала и плакала, и слёзы у неё на щеках тут же застывали, и она стирала их варежкой, которую подобрала из снега.

Лента. Это была лента. Соня взяла её в середине октября, в бане, где Ксюша, то есть я, повесила её на крючок, пока

мыла голову. Я потом весь вечер искала, плакала, а она помогала искать, и ей было так стыдно, что она чуть не призналась.

— Почему? — спросила я.

Соня подняла на меня лицо, мокрое, некрасивое, распухшее.

— Потому что ты стала первая, — сказала она. — Пони-маешь? Я до тебя была первая. В нашей группе. Всегда, с самого начала, ещё в гимназии, у меня папа мировой судья, он каждую неделю спрашивает в письмах, какое у меня место, и если не первое, то... то он не кричит, он никогда не кричит, он просто перестаёт писать. На месяц. — Она всхлипнула. — А ты пришла, тихая такая, со своим огрызком огня, я тебе ещё яблоко принесла, потому что мне тебя жалко было. А потом у тебя вдруг всё стало получаться. Всё. Огонь до потолка, формулы с первого раза. И Бурый тебя хвалил. И на доске ты первая, а я вторая, а потом четвёртая. И я подумала... я просто хотела, чтобы у тебя перестало получаться. Чуть-чуть. Чтобы ты споткнулась пару раз. Бабушка у нас в деревне так делала, я слова с детства знаю, они глупые, детские...

— Почему здесь? — Я кивнула на щель у ступени. — Почему у башни?

— Ты сама сказала. — Соня вытерла нос рукавом. — Ты мне говорила, что ходишь сюда ночью. Что не можешь спать и что тебя сюда тянет, и ты стоишь у двери и смотришь, и

тебе спокойно. Мне страшно было, что ты ходишь, я тебе говорила, не ходи. А потом подумала: ну, раз ты тут часто бываешь... Её надо прятать там, где человек часто бывает. Я положила её в щель, глубоко, а сверху снегом. А теперь её нет. — Голос у неё сломался. — Её нет, Ксюша, кто-то её забрал, а ты сказала, три дня, и я думала, если я её найду и сожгу, то всё пройдёт, а её нет...

Я молчала. Над нами стояла башня, чёрная, высокая, и где-то наверху, в узком окне, ничего не шевелилось.

— Это я тебя убила? — спросила Соня совсем тихо. — Это из-за меня ты... в ту ночь...

— Нет, — сказала я. — Тимур говорит, она слабая. Почти детская. От неё роняют чашки.

Она посмотрела на меня, не понимая. Потом понял.

— Ты соврала, — сказала она. — Про три дня. Нарочно.

— Да.

Она закрыла лицо руками и долго сидела так, раскачиваясь. Мне не было её жалко. Я стояла и пыталась её пожалеть, потому что, если верить дневнику, я её любила, она была моей единственной подругой, она приносила мне яблоки и пирожки и заплетала косы по-островному. А мне было не жалко. Мне было холодно, и я злилась, и злость была спокойная и ровная, как лёд на озере.

— У тебя был ключ от моей комнаты, — сказала я.

Соня отняла руки от лица.

— Был. Ты сама дала.

— Кто-то зашёл ко мне в комнату, пока я лежала в леднике, и вырезал из дневника все страницы с середины октября. Ты?

— Нет! — Она вскочила, поскользнулась на ступени и чуть не упала. — Нет, Ксюша, нет, клянусь, я туда не заходила, я ключ вообще с тех пор не трогала, он у меня в шкатулке, хочешь, покажу, я... я в ту ночь вообще ничего не знала, я спала, мне утром сказали, я чуть с ума не сошла...

— Ты в ту ночь спала. А в ночь, когда прятала ленту у башни, ты тоже спала?

Она замолчала. Она стояла передо мной, с мокрым лицом, в съехавшем платке, в валенках, облепленных снегом, и смотрела на меня так, будто я её ударила.

— Ты раньше так никогда не говорила, — сказала она шёпотом. — Ты раньше вообще... ты никогда...

— Раньше я была другая. Мне так все говорят. — Я отступила на шаг. — Уходи, Соня. Иди спать. Ключ можешь оставить себе, я поменяю замок. И больше не подходи ко мне. Ни в Трапезной, ни в коридоре, нигде.

Она постояла ещё секунду. Потом повернулась и побежала вверх по тропе, спотыкаясь, оскальзываясь на камнях, и один раз упала, и встала, и побежала дальше, не оглядываясь. Я смотрела, пока её не стало видно за валунами.

Мне не было её жалко. Это меня и пугало.

Я осталась у башни одна. Можно было идти назад, ноги всё равно уже не чувствовали холода, и до утра оставалось часа четыре. Но я присела у ступени, там, где только что ша-рила Соня, и сама не зная зачем сунула руку в разворочен-ную щель.

Лента лежала здесь. Полтора месяца, может быть, больше. Кто-то её отсюда вынул, а я не знала, когда и зачем. Может быть, ветер. Может быть, птица. Может быть, кто-то, кто ходит сюда так же часто, как, по словам Сони, ходила я.

Пальцы наткнулись на что-то твёрдое и круглое, вмёрзшее в лёд.

Я разгребла снег обеими руками, как Соня, выковыривая ледышки ногтями. Под снегом, под тонкой коркой льда, у са-мого основания ступени, лежали кругляши. Тёмные, разме-ром с монету, вмёрзшие в лёд в ряд, как пуговицы в старой шкатулке. Я насчитала шесть. На каждом, когда я соскребла с них иней, был знак: круг, а в круге открытый глаз.

Такие же, как тот, что лежал у меня в носке за доской в изголовье кровати.

Один был не такой, как остальные. Он лежал с самого краю, глубже, вмёрзший так, будто лежал здесь не одну зи-му, и был больше и толще, а металл у него был не чёрный, а тёмно-бурый, как старая бронза, и знак на нём был вытрав-лен иначе, грубее, с зазубринами, будто его делали другим инструментом, другие руки. Я поковыряла его ногтем. Он не

поддался. Он сидел во льду крепко, как камень в кладке.

Шесть жетонов у порога закрытой башни. Значит, сюда ходила не только я. Сюда ходили и другие, и оставляли их здесь, у двери, под знаком, нарочно, один за другим. Какой-то обычай. Чей-то.

А мой жетон, седьмой, почему-то остался у меня в кармане.

Глава 6. Засада

В понедельник у доски рейтинга в Трапезной стояла толпа, и я протолкалась к ней не потому, что мне было интересно, а потому, что в толпе меня меньше разглядывали. Ноябрь закончился, вывесили новый лист, исписанный аккуратным почерком секретаря учебной части, с вензелями на заглавных буквах. Первой стояла «Левина К.». Второй какая-то Мещерская. «Гречко С.» поднялась на четвёртое место. Свою фамилию я нашла на двенадцатом, между Ивашкиным, который на практикуме ронял огонь на счёт пять, и девочкой из Лодейска, которая, по слухам, плакала на каждой лекции.

— Вернулась, а толку, — сказала Кира, проходя у меня за спиной, громко, чтобы слышали. Кто-то засмеялся.

Я не обернулась. Я подумала, что так ей, наверное, легче: раз она теперь мне должна, надо показать всем, и себе в первую очередь, что ничего не изменилось. Я бы на её месте сделала так же. Я уже начала замечать, что на месте других людей я делала бы совсем не то, что, судя по дневнику, делала девушка, которой я была три месяца.

Соня, стоявшая в другом конце толпы, увидела меня и ушла, не дождавшись своей очереди к доске.

Библиотека Северной академии занимала весь третий этаж западного крыла и пахла пылью, мышинным помётом и тем особенным сладковатым клеем, которым в старину переплетали книги. Под потолком висели светцы, тусклые, потому что библиотекарьша экономила, и между стеллажами было темно, как в лесу. Я пришла туда искать хоть что-нибудь про знак с глазом в круге и третий час листала «Геральдику северных родов», «Историю Северной академии с приложением гербов и печатей» и толстенный том «Символы и знаки в магической практике», в котором было всё, от петушиного пера до трёхголовой змеи, и ни одного глаза в круге.

Он сел напротив, когда я закрывала «Символы». Тихо, без стука стула, будто боялся спугнуть.

— Я тебя искал, — сказал Максим.

— Нашёл.

Он помолчал, глядя на стопку книг между нами. Взял верхнюю, «Историю Северной академии», повертел и положил обратно.

— Слушай, — сказал он. — Я хотел... про тот вечер. Про то, из-за чего мы...

Он не договорил. Он начал тереть большим пальцем свой ожог, и я уже знала, что это значит: сейчас он скажет что-нибудь, а потом передумает.

— Ну? — сказала я.

— Ты тогда пришла ко мне и попросила одну вещь. А я

отказал. Сказал, что это глупость. Ты обиделась и ушла.

— Какую вещь?

Он посмотрел на меня, и на секунду мне показалось, что сейчас скажет. Лицо у него было такое, как у человека, который стоит на краю проруби и уже решился, уже вдохнул. Потом он выдохнул.

— Неважно, — сказал он. — Правда. Это уже неважно.

— Тебе неважно. А мне важно. Это последнее, что я делала перед тем, как умереть.

Он вздрогнул от слова «умереть», как будто я его ударила. Мы сидели друг напротив друга за широким дубовым столом, в полутьме, между стеллажами, и было тихо так, что я слышала, как в дальнем углу библиотekarша переворачивает страницу. И вот тут, совершенно некстати, мне захотелось протянуть руку и убрать у него со лба прядь, которая падала ему на глаза и явно мешала. Просто убрать. Пальцы даже дёрнулись на столе.

Я сжала их в кулак и разозлилась. На него, потому что он врал и смотрел на меня так, что у меня что-то сводило под рёбрами. На себя, потому что я не знала, кто он, и не должна была ничего хотеть убирать у него со лба. А больше всего на ту девушку из дневника, которая рисовала кривые сердечки на его фотографии, потому что, кажется, это её руки сейчас дёргались на столе, а не мои.

— Ладно, — сказала я. — Тогда другой вопрос. Ты знаешь, что такое чёрные жетоны? Маленькие, металлические,

со знаком. Глаз в круге.

— Нет, — сказал он.

Он сказал это слишком быстро. Раньше, чем я договорила «в круге». Как отбивают мяч, который ждали.

Я кивнула, будто поверила.

— А ректора ты хорошо знаешь? — спросила я, собирая книги. — Он же меня нашёл. Какой он?

— Знаю, — сказал Максим. — Как все. Строгий. Справедливый. Его все боятся и все уважают.

Он смотрел на свои руки, и палец снова тёр костяшку.

* * *

Сарай стоял шагах в сорока от башни, на склоне, полуразвалившийся, с провалившейся крышей, и в нём когда-то, судя по запаху, держали лодки и смолу. Между стеной сарая и большим камнем была щель, в которую можно было протиснуться и сидеть, видя дверь башни, а самой оставаясь в тени. Я нашла её в понедельник днём и в понедельник ночью села туда в первый раз.

Шесть жетонов у порога означали, что кто-то сюда ходит. Ходит не каждую ночь, иначе их было бы больше, но и не раз в десять лет, иначе они не были бы такие новые. Значит, если сидеть и ждать, кто-нибудь придёт.

В первую ночь не пришёл никто. Я просидела до трёх, пока не перестала чувствовать пальцы на ногах, и только озеро

стонало подо льдом, и один раз над башней пролетела сова, низко и бесшумно, как брошенная тряпка. Когда я возвращалась, Декан сидел у чёрного хода Соснового корпуса на крыльце, хотя ночью его обычно запирали на кухне, и смотрел на меня с таким видом, будто я задолжала ему котлету. Я прошла мимо. Он посторонился.

Во вторую ночь тоже никто не пришёл. Я принесла с собой бабушкино одеяло и флягу с чаем, но чай остыл, пока я шла от корпуса до сарая, а к полуночи во фляге стучался лёд. Я пила его, ледяной, и почему-то мне не было от него холоднее. Над озером висело северное сияние, бледное, зеленоватое, как свет в оранжерее, и дрожало, и я смотрела на него и думала, что это красиво и что мне от этой красоты страшно, а почему, сказать не могла.

На третью ночь, в среду, в половине двенадцатого, на тропе захрустел снег.

Я перестала дышать. Шаги были осторожные, неровные, кто-то шёл и останавливался, шёл и останавливался, будто прислушиваясь. Потом из-за валунов появилась фигура. Невысокая, в длинном плаще с капюшоном, надвинутым так низко, что лица не было видно совсем. Фигура шла к башне медленно, оглядываясь, и у самой ступени остановилась, долго стояла, глядя на дверь, на замок, на знак. Потом присела, что-то положила у порога, у самого основания, прижала ладонью. Выпрямилась.

И побежала. Не пошла, а побежала, почти бегом, вверх по

тропе, мимо моего сарая, так близко, что я слышала, как она дышит, часто и со всхлипом, как дышат, когда очень страшно и очень стыдно бояться.

Я досчитала до десяти и пошла следом.

* * *

Фигура не пошла в общежитие. Она обогнула оранжерею, пересекла пустой двор, где днём играли в снежки, и нырнула под арку, ведущую к западному крылу Главного корпуса. Старое крыло, как его называли в дневнике: «Там пусто и страшно, туда никто не ходит, говорят, там раньше были аудитории, а потом что-то случилось, и их закрыли». Я шла за ней, держась у стены, и старалась ступать в её следы, чтобы снег не скрипел.

Внутри было темно и холодно, холоднее, чем на улице, потому что крыло не топили. Пахло мышами, сыростью и старым деревом. Фигура шла уверенно, не зажигая огня, будто знала дорогу на ощупь, по длинному коридору мимо закрытых дверей с облупившимися номерами, вверх по узкой лестнице, по ещё одному коридору, и остановилась в самом конце у двери, из-под которой пробивалась полоска света.

Она постучала: три раза, пауза, два. Дверь открылась, впустила её и закрылась.

Я подкралась. Дверь была дубовая, тяжёлая, старая, и над ней, на притолоке, было вырезано то, что я уже видела два-

жды: круг, а в круге открытый глаз.

Я приложила ухо к двери. Голоса доносились глухо, как из-под воды. Кто-то говорил, другой отвечал, третий засмеялся, высоко и коротко. Слов было не разобрать, только интонации: один голос, ленивый, тягучий, звучал чаще остальных, и остальные затихали, когда он говорил. Потом стало тихо. Потом снова голоса.

Я стояла и понимала, что ничего не узнаю. Что можно простоять здесь до утра и услышать только, как они смеются и стучат кружками. Что за дверью, возможно, сидят люди, которые знают, почему мой жетон оказался у меня в кармане, а не у порога башни, и что я никак не могу у них это спросить, не показав, что я знаю, что они существуют. Мне стало страшно, по-настоящему, первый раз с тех пор, как я выбралась из ледника. Я одна, ночью, в пустом нетопленном крыле, у двери, за которой неизвестно кто, и никто в академии не знает, где я.

Я отступила от двери на шаг, собираясь уходить.

И тогда за дверью ленивый тягучий голос сказал, очень отчётливо, будто нарочно повысив голос:

— ...Воронова.

Я замерла.

На плечо мне легла рука.

Тяжёлая, тёплая, в шерстяной перчатке. Я не слышала шагов, совсем, ни скрипа, ни шороха, хотя пол в этом коридоре скрипел под каждым шагом, я это слышала, когда шла

сюда. Рука просто легла мне на плечо и сжала его, не сильно, но так, что дёрнуться было бы глупо.

Дверь передо мной открылась изнутри. В проёме стоял высокий светловолосый парень в бордовом шарфе, небрежно намотанном на шею, и за его спиной горели свечи, много свечей, и сидели люди в креслах, и все они смотрели на меня.

— Ну здравствуй, Воронова, — сказал он лениво и тягуче, тем самым голосом. — А мы тебя ждали.

Глава 7. Общество

Рука на моём плече принадлежала парню размером с печку, у которого была бритая голова и сломанный когда-то нос, и он аккуратно, почти бережно, как вносят в дом мешок с мукой, задвинул меня в комнату и закрыл за мной дверь. Потом прислонился к ней спиной. Я поняла, что выйти мне отсюда можно будет только тогда, когда мне разрешат.

Комната была большая, бывшая аудитория, с высокими окнами, заколоченными изнутри досками, и в ней было тепло, потому что в углу кто-то растопил старую изразцовую печь, синюю с белым, в трещинах. Светцов не было, только свечи, десятка три, на подоконниках, на полу, на выступе печи, в жестяных подсвечниках и просто в бутылках. Вдоль стен стояли кресла, разномастные, продавленные, явно стащенные сюда из всех нежилых комнат академии, а в креслах сидели человек десять и смотрели на меня, и у всех в руках были кружки. Пахло воском, дымом и горячим вином с гвоздикой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.